

Александр Иванович Куприн

Прапорщик армейский



Александр Куприн
Прапорщик армейский

«Public Domain»

1897

Куприн А. И.

Прапорщик армейский / А. И. Куприн — «Public Domain», 1897

«Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожа на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского...»

© Куприн А. И., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

Куприн Александр Прапорщик армейский

Один из моих близких друзей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожа на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского. Между книгами попадались письма и бумаги, большей частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольно толстая пачка, свернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего друга. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной шершавой бристольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листков стояла подпись: «Кэт», а на некоторых – просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма Кэт писаны приблизительно в одно и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за двадцать пять до наших дней. Не зная, что сделать со своей находкой, друг переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателей, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков вроде кавычек, скобок.

5 сентября

Скука, скука и еще раз скука!.. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятия в роте:

- Ефименко, что такое часовой?
- Часовой – есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
- Почему же он лицо неприкосновенное?
- Потому, что до его никто не смеет доторкнуться, ваше благородие.
- Садись. Ткачук, что такое часовой?
- Часовой – есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.

И так без конца...

Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадает в супе мозговая кость – это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое... Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-льба шеренгою».

Сколько раз начинал я этот самый дневник... Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь и которая теперь так же, как и я, томится от тоски.

Разве я не имею права на счастье? Я неглуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен, хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское.

Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте.

В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтоб потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но возможно ярче и полнее... Однако дни проходили за днями, по-прежнему тягучие и однообразные... Необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным сором при переезде на новую квартиру.

7 сентября

Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и роты одна за другой уходят копать бураки у окрестных помещиков, остались только наша да 11-я. Город точно вымер. Эта пыльная и душная жара, это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым ораньем петухов, – раздражают и угнетают меня...

Право, мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо-тяжелыми! Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании! Вот и в настоящую минуту я представляю себе: раннее утро – солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двухскатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском... Бивуак ожил и закопошился... Слышится беготня, сдержанные сердитые голоса, лязг ружей, ржанье обозных лошадей. Сделав над собой усилие, выползаешь из-под мохнатого одеяла, шерсть которого сделалась сверху совсем мокрой от ночной росы, выползаешь прямо на воздух, потому что в низкой палатке стоять нельзя, а можно только лежать или сидеть. Денщик, только что усердно раздувавший своим сапогом жестяной самовар-паучок (что ему, конечно, строжайше запрещено), кидается за водой и приносит ее прямо из ключевого ручья в медном походном котелке. Раздевшись до пояса, умываешься на чистом воздухе и видишь, как от рук, от лица и от тела вьется тонкий розоватый парок... Кое-где, между палатками, офицеры устроили импровизированные костры из той самой соломы, на которой провели ночь, и расселись вокруг, ежась от холода и торопливо глотая горячий чай. Еще несколько минут – и палатки сняты: на том месте, где только что раскидывался «бел город полотняный», валяются лишь в беспорядке пучки соломы и куски бумаги... Гам встревоженного бивуака растет. Все поле кишит солдатскими фигурами в белых рубахах, с серыми скатанными шинелями через плечо. Сначала кажется, что в этой серой муравьиной суе нет никакого порядка, но опытный взгляд заметит, как из нее образуются мало-помалу густые кучки и как постепенно каждая кучка разворачивается в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бегут к своим ротам, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с патронными сумками. Еще минута – и роты, бряцнув одна за другой ружьями, сходятся на середину поля в правильный огромный четырехугольник.

А потом утомительный тридцати-сорокаверстный и переход. Солнце подымается все выше и выше. К восьми часам утра жара уже дает себя заметно чувствовать, солдаты начинают сучать и поют неохотно, стройные ряды разрозниваются. Пыль с каждой минутой становится гуще, она окутывает длинным желтым облаком всю колонну, медленно, на протяжении целой версты, извивающуюся вдоль дороги; она садится коричневым налетом на солдатские рубахи и на солдатские лица, на темном фоне которых особенно ярко, точно у негров, блестят белки и зубы. В густой запыленной колонне трудно отличить солдата от офицера. Также на время как будто ослабевает между ними иерархическая разница, и тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его метким взглядом на всевозможные явления, – даже на такие сложные, как корпусный маневр, – с его практичностью, с его умением всюду и ко всему приспособляться, с

его хлестким образным словом, приправленным крупной солью, которую пропускаешь между ушей. Что бы и кто бы ни встретился по дороге: хохол в широких белых шароварах, лениво идущий рядом с парой сивых круторогих волов, придорожная корчма, еврейская «балагула», бархатное поле, распаханное под озими, – все вызывает его пытливые вопросы и замечания, дышащие то глубоким, почти философским пониманием простой обыденной жизни, то резким сарказмом, то неудержимым потоком веселья...

Начинает темнеть, когда полк подходит к месту ночлега. Видны уже кашевары около больших дымящихся ротных котлов, расставленных в поле, в стороне от дороги... Стой!.. Ружья в козлы!.. В один миг поле покрывается стройными рядами белых шалашиков... И вот через час или два опять лежишь под дырявым полотном, сквозь которое видны яркие мерцающие звезды на темном небе, и прислушиваешься, как угомоняется постепенно сонный лагерь. И еще долго-долго слышатся откуда-то издали отдельные звуки, смягчаемые грустной тишиной вечера: то коснется до слуха однообразное пиликанье гармоники, то сердитый без сомнения, фельдфебельский голос, то внезапно вырвавшееся звонкое ржание жеребенка... А сено, лежащее под головой, примешивает в это время свой тонкий аромат к резкому, горьковатому запаху росистой травы.

8 сентября

Сегодня мой «ротный», Василий Акинфиевич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы. Он заключил для роты очень выгодное условие – чуть не по 272 копейки за пуд – с управляющим господина Обольянинова. Работа будет заключаться в копании бураков для местного свекло-сахарного завода. Она неумолима для солдат, и исполняют они ее очень охотно. Все эти обстоятельства, должно быть, и привели ротного в такое радужное настроение духа, что он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, буде я соглашусь ехать, уступает в мою пользу полтора рубля из выговоренных им для себя суточных денег. Другие командиры рот никогда еще не проявляли по отношению к субалтерн-офицерам такого великодушия.

Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфиевичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность. Во время ротного учения он, не стесняясь солдатами, кричит на младшего офицера: «Поручик, извольте держать равнение! Идете, точно отец дьякон в похоронной процессии!» Если это и остроумно, то зато безжалостно и нетактично. С солдатами Василий Акинфиевич изволит иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него господа взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой мере исправления. Солдаты его любят и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфиевич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже и собственных рублей двадцать пять в месяц прибавит, что Василий Акинфиевич своего в обиду не даст, а, наоборот, за него хоть с самим полковым погрызется. Знают все это, и я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфиевичем, не колеблясь, хоть на самую очевидную смерть.

Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему «благородному». В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом франтовстве, манерничанье, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородный» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки и притом отчаянно фатовским тоном, так что у него выходит нечто вроде «бэгэрэдный». Впрочем, надо оговориться, что Василий Акинфиевич тянул служебную ляжку с солдатских чинов. А в ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским бурбонам от завитых и напوماженных армейских моншеров.

С людьми он сходится туго, как и всякий закоренелый холостяк, но, полюбив кого-нибудь, открывает ему вместе с карманом свою наивную, добрую и чистую душу. Но, даже и

открывая душу, Василий Акинфиевич не перестает ни на минуту сквернословить, – это тоже его дурная черта.

Меня он, кажется, по-своему любит – я все-таки недурной фронтовик. В минуты денежного кризиса я свободно черпаю из его кошелька, и он никогда не торопит отдачей долга. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапорам. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки любят его употреблять в ласкательно-игривом смысле, в память дней своей юности.

Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на мелочные заботы об антабках и трынчиках. Жаль мне бедности его мысли, никогда даже не интересовавшейся тем, что делается за этим узеньким кругозором. Жаль мне его, одним словом, той жалостью, что невольно охватывает душу, если долго и пристально глядишь в глаза очень умной собаки...

Я ловлю себя... А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль?.. Нет, Василий Акинфиевич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни, вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые и красные морды, что смотреть весело... А я?.. Я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня? Управляющий... у него жена, две дочери, два-три соседних помещика, может быть, маленький романчик?.. Завтра выступаем.

7 сентября

Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию «Конский брод». Оказалось, что управляющий имения, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за Василием Акинфиевичем и за мной коляску. Черт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком! Четверня цугом породистых, прекрасных лошадей, резиновые шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе, а на козлах здоровенный детина, одетый не то казачком, не то грумом: в клеенчатом картузе и в красном шарфе вместо пояса. До Ольховатки верст восемь. Дорога чудная: с обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы возов, нагруженные доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфиевич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около ста тысяч пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности если принять во внимание, что Обольянинов – единственный хозяин предприятия.

В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая – Бергер, но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он похож на того Фальстафа, которого я видел где-то на выставке, кажется, в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию генерального штаба. Толст он необычайно, жир так и сквозит, так и лоснится у него на отвислых щеках, покрытых сетью мелких красных жилок; волосы на голове – короткие, прямые, с проседью, усы торчат воинственными щетками, короткая эспаньолка под нижней губой; глаза под густыми взъерошенными бровями быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул; губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого, беззастенчивого и очень наблюдательного человека. При этом он, должно быть, глух, потому что в разговоре отчаянно кричит.

Я думаю, Бергер нам искренне обрадовался. Таким людям, как он, собеседник и собутыльник нужнее воздуха. Он ежеминутно подбегал то ко мне, то к капитану, обнимал нас за талию и все приговаривал: «Милости просим, господа, милости просим». Василию Акинфиевичу он, к моему немалому удивлению, понравился. Мне тоже.

Бергер проводил нас во флигель, где нам приготовлены четыре комнаты, снабженные всем нужным и ненужным с такой щедрой заботливостью, как будто бы мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на три. Капитан, по-видимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны хозяев. Только один раз, именно, когда Бергер, выдвинув ящик

письменного стола, показал поставленную для нас целую коробку длинных ароматных сигар, Василий Акинфиевич пробурчал вполголоса:

– Ну, уж это лишнее... это уж бэгэрэдство и всякая такая вещь. (Я и забыл упомянуть об его привычке прибавлять чуть ли не к каждому слову: «и всякая такая вещь». Вообще он не из красноречивых капитанов.)

Вводя нас, так сказать, во владение, Бергер очень много суетился и кричал. Мы его усиленно благодарили. Наконец он, по-видимому, устал и, обтирая лицо огромным красным платком, спросил: не нужно ли нам еще чего-нибудь? Мы, конечно, поспешили его уверить, что нам и так всего более чем достаточно. Уходя, Бергер сказал:

– Сейчас я вам пришлю казачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам. Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодной телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер.

– Кушаете? Ну и прекрасно, – сказал он. – А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Еще мой покойный фатер воспитывал его лет двадцать в своем собственном имении... У нас под Гайсином собственное имение было... Вы не думайте, пожалуйста: мы, Бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Собственно, у меня есть даже права на баронский титул, но... к чему?... Дворянские гербы любят позолоту, а на нашем она давно стерлась. Милости прошу, господа защитники престола и отечества!

Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности он извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана каламянкового пиджака, я скорее склонен думать, что старое венгерское воспитывалось в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино – действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жесты их обычной выразительности и делает неповоротливым язык, но голова остается все время ясной, а дух – веселым. Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о его оранжерее и конюшнях, о жалованье, которое он платит служащим. Самого себя Бергер сначала отрекомендовал главным-управляющим всеми делами. Но через полчаса он проболтался: оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстаф занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель Ольховатской усадьбы, попросту – эконом, и получает девятьсот рублей в год на всем готовом, кроме платья.

– И куда столько добра одному человеку! – воскликнул наивно капитан, видимо, пораженный теми колоссальными цифрами наших доходов и наших расходов, которыми так щедро сыпал Фальстаф. Фальстаф сделал лукавое лицо.

– Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек, – он игриво ткнул меня большим пальцем в бок, – ну-ка, возьмите да женитесь... Тогда и меня, старика, не забудете... Я спросил с небрежным видом человека, видавшего виды:

– И хорошенькая?

Фальстаф так и побагровел от хохота.

– Ага! Забирает? Прекрасно, воин, прекрасно... Атака с места в карьер. Тра-там-та-та-та. Люблю, когда по-военному. – Потом он вдруг, точно от нажима пружинки, сразу перестал смеяться и прибавил: – Как вам сказать?... На чей вкус... Уж очень она того... субтильна. Жидка больно...

– Бэгэрэдство! – вставил капитан, скривив рот.

– Этого сколько угодно. Гордая. Соседей знать не хочет. У! Бедовая. Прислуга ее пуще огня боится... И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побранила бы. И – никогда! Принесите то-то. Сделайте то-то... Ступайте... И все это так холодно, не шевеля губами!

– Бэгэрдство! – сказал капитан и презрительно шмыгнул носом.

Так мы просидели часов до одиннадцати.

Под конец Фальстаф совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это, по правде сказать, сильно расстраивает мои планы. Странное дело: как ужасно долго тянется день на новом месте и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. Вот я пишу теперь эти строки, и мне кажется, что я уже давным-давно, по крайней мере месяца два, живу в Ольховатке и что моя уставшая память никак не может зацепиться ни за одно событие.

12 сентября

Сегодня я осмотрел почти всю Ольховатскую экономию... Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац, – одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя львами на подъезде. Вчера он мне показался не таким большим, как сегодня. Перед домом разбиты клумбы; дорожки между ними посыпаны красным песком; посередине фонтан и блестящие шары на тумбах, вокруг – легкий забор из проволочной колючей решетки. За домом – флигель, службы, скотный и птичий дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на трех-четыре десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди.

Я впервые в моей жизни живу так близко, бок о бок, с людьми, тратящими на себя в год десятки, может быть, даже сотни тысяч, с людьми, почти не знающими, что значит «не мочь» чего-нибудь. Блуждая без всякой цели по саду, я никак не мог оторвать мыслей от этого непонятого, чуждого мне и в то же время такого привлекательного существования. Что это за люди? Так ли они думают и чувствуют, как и мы? Чувствуют ли они преимущество своего положения? Приходят ли им в голову те будничные мелочи, которые гнетут нашу жизнь, знают ли они о том, что мы испытываем, соприкасаясь с их высшим миром? Я склонен думать, что они все-таки ни о чем этом не думают и никаких пытливых вопросов себе не задают, и серое однообразие нашей жизни им кажется таким же неинтересным, таким же естественным и таким же для нас привычным и незаметным, каким кажется мне мировоззрение хотя бы моего денщика Пархоменки. Это все, конечно, в порядке вещей, но моя гордость почему-то бунтует. Меня возмущает сознание, что в обществе этих людей, отшлифованных и вылощенных вековой привычкой к роскоши и утонченному этикету, «я», именно «я», а не кто другой, буду смешон, дик, даже неприятен моей манерой есть и жестикулировать, моими выражениями и наружностью, может быть, вкусами и знакомствами... Одним словом, во мне ропщет человек, созданный по образу и по подобию божью, но или потерявший то и другое стечением времени, или обокраденный кем-то...

Воображаю, как фыркнул бы мой Василий Акинфиевич, если бы я ему прочитал вслух эти размышления!

13 сентября

Хотя сегодня и роковое число – чертова дюжина, но день выдался очень интересный.

Я опять бродил сегодня по саду. Не помню, где я вычитал сравнение осенней природы с той изумительной неожиданной прелестью, какую иногда приобретают лица молодых женщин, обреченных на верную и скорую смерть от чахотки. Нынче это странное сравнение не выходит у меня из головы...

В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих кленов. Под ногами шуршат желтые, мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пестро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся

кое-где местами зеленые ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпурный. Небо густое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор. И во всем этом ярком празднике смерти чувствуется безотчетная томная грусть, от которой сердце сжимается медленной и сладкой болью.

Я шел вдоль длинной аллеи акаций, сплетающихся над головой сплошным полутемным сводом. Вдруг до моего слуха коснулся женский голос, говоривший что-то с большим оживлением и смехом. На скамейке, в том месте, где густая стена акаций образовывала что-то вроде ниши, сидели две девушки. (Я так сразу и подумал, что это девушки. Потом мое предположение сразу оправдалось.) Их лиц я не успел хорошенько рассмотреть, но заметил, что у старшей, брюнетки, задорный, сочный тип малороссиянки, а младшая выглядит подростком, на голове у нее небрежно накинут белый шелковый платок, надвинутый углом на лоб и потому скрывающий волосы и всю верхнюю часть лица. Но мне все-таки удалось увидеть ее смеющиеся розовые губы и веселое сверкание белых зубов в то время, когда, не замечая моего приближения, она продолжала рассказывать на английском языке что-то, вероятно, очень забавное своей соседке.

Некоторое время я колебался: идти ли мне дальше, или вернуться? И если идти, то кланяться им или нет? Мною опять овладели вчерашние сомнения плебейской души. С одной стороны, думал я, эти девушки если не здешние хозяйки, то, наверное, – гости, я в некотором роде тоже гость и потому с ними равноправен... Но, с другой стороны, позволяет ли Герман Гоппе в своих правилах светского такта кланяться незнакомым дамам? Не покажется ли барышням мой поклон смешным, или, что еще хуже, не сочтут ли они его за знак подчиненности служащего, «наемного человека»? И то и другое представлялось мне одинаково ужасным.

Однако, размышляя таким образом, я продолжал подвигаться вперед. Брюнетка первая услышала шум сухих листьев под моими ногами и что-то быстро шепнула барышне в шелковом платке, указывая на меня глазами.

Поравнявшись с ними, но не глядя на них, я прикоснулся пальцами к фуражке и не увидел, а скорее почувствовал, что обе они медленно и едва заметно наклонили головы. Они следили за мной, когда я удалялся: это я узнал по той сковывавшей движения неловкости, которую я всегда испытываю от устремленных на меня сзади пристальных взглядов. На самом конце аллеи я обернулся. В ту же секунду, как это часто бывает, обернулась в мою сторону и барышня в белом платке. До меня донеслось какое-то английское восклицание и звонкий смех. Я покраснел. И восклицание и смех относились, несомненно, к моей особе.

Вечером опять приходил Фальстаф, на этот раз с каким-то изумительным коньяком, и опять рассказывал что-то невероятное о своих предках, участвовавших в крестовых походах. Я его спросил как будто бы нечаянно:

– Вы не знаете, кто эти две барышни, которых я встретил сегодня в саду? Одна брюнетка, такая свеженькая, а другая, почти девочка, в светло-сером платье? Он широко улыбнулся, отчего все лицо его сморщилось, а глаза совершенно исчезли, и лукаво погрозил мне пальцем:

– Ага! Попался на удочку, сын Марса! Ну, ну, ну, не сердись... не буду, не буду... А все-таки интересно?... А?... Ну, уж так и быть, удовлетворю ваше любопытство. Которая помоложе – это молодая барышня, Катерина Андреевна, вот, что я вам говорил, наследница-то... Только какая же она девочка? Разве что на вид такая шуленькая, а ей добрых лет двадцать будет...

– Неужели?

– Да-а! Если еще не больше... У! Это такой бесенок... Вот брюнеточка так она в моем вкусе... этакая сдобненькая, – Фальстаф плотоядно причмокнул губами, – люблю таких пышек. Ее звать Лидией Ивановной... Простая такая, добрая девушка, и замуж ей страсть как хочется выскочить... Она Обольяниновым какой-то дальней родственницей приходится, по

матери, но бедная, – вот и гостит теперь на линии подруги... А впрочем, ну их всех в болото! – заключил он неожиданно и махнул рукой. – Давайте коньяк пить.

С последним доводом я не мог внутренне не согласиться. Что мне за дело до этих девушек, с которыми я сегодня увиделся, а завтра мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда даже не услышать друг о друге?

Поздно ночью, по уходе Фальстафа (казачок опять почтительно поддерживал его за талию), когда я уже был в постели, Василий Акинфиевич пришел ко мне в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и со свечой в руке.

– А ну-ка, объясните мне, умный человек, одну штуку, – сказал он, зевая и почесывая волосатую грудь. – Вот нас и кормят здесь всякими деликатесами, и винищем этим самым поят, и казачка приставили, и сигары, и всякая такая вещь... А к столу, к своему-то, нас ведь не приглашают. Отчего бы это? Разрешите-Кали, не дожидаясь моего ответа, он продолжал язвительным тоном:

– Оттого, батенька вы мой, что все эти бэгрэдные люди и всякая такая вещь... претонкие дипломаты... Да-с... У них какая манера? Я ихнего брата хорошо изучил, шатаюсь по вольным работам. Он и любезен с тобой, и обед тебе сервирует (справедливость требует сказать, что капитан выговорил: «сельвирует»), и сигарка, и всякая такая вещь... а ты все-таки чувствуешь, что он тебя рассматривает, как червяка низменного... И заметьте, поручик, это только настоящие, большие «алистократы» (здесь он уже умышленно, для иронии, исковеркал слово) такое обращение с нашим братом имеют. А какой поплоче да посомнительнее, тот больше форсит и ломается: сейчас стеклышко в глаз, губы распушит и думает, что птица... Ну, а у настоящих – первое дело простота... Потому что ими ломаться нечего, когда у них в крови презрение живет к нашему брату... И выходит очень естественно и прелестно, и всякая такая вещь... Окончив эту обличительную речь, Василий Акинфиевич повернулся ко мне спиной и ушел в свою комнату. Что ж? Ведь он, по-своему, пожалуй, и прав. Но я все-таки нахожу, что хохотать вслед незнакомому человеку – как будто бы немножко нетактично.

14 сентября

Сегодня я опять встретил их обеих и опять в саду. Они шли обнявшись. Маленькая положила голову на плечо подруги и что-то напевала с полузакрытыми глазами. При виде их у меня тотчас мелькнула мысль, что мои случайные прогулки могут быть истолкованы в дурную сторону. Я быстро свернул по первой боковой дорожке. Не знаю, заметили меня барышни или нет, но очевидно, что мне надо для прогулок выбрать другое время, иначе я рискую показаться назойливым армейским кавалером.

15 сентября

Вечером Лидия Ивановна уехала на станцию. Должно быть, в Ольховатку она больше уже не вернется, потому, во-первых, что следом за ней повезли изрядное количество багажа, а во-вторых, она и хозяйская барышня очень уж долго и трогательно прощались перед расставаньем. Кстати, при этом случае я впервые увидел из своего окна самого Андрея Александровича и его жену. Он совсем молодчина: стройный, широкоплечий, с осанкой старого гусара; седые волосы на голове острижены под гребенку, подбородок – бритый, усы длинные, пушистые и серебряные, а глаза – точно у ястреба, только голубого цвета, а то такие же круглые, впалые, неподвижные и холодные. Жена производит впечатление запуганной и скромной особы: она держит голову немного набок, и с губ ее не сходит не то виноватая, не то жалостливая улыбка. Лицо желтое и доброе.

Вероятно, она в молодости была очень красива, но зато теперь кажется гораздо старше своих лет. На балконе также появилась какая-то сторбленная старушенция в черной наколке и

зеленых буклях, – вышла, опираясь на палку и еле волоча за собою ноги, хотела, кажется, что-то сказать, но закашлялась, замахала с отчаянным видом палкой и опять скрылась.

16 сентября

Василий Акинфиевич просил меня присмотреть за работами до тех пор, пока он не оправится от внезапных припадков своего балканского ревматизма.

«В особенности, – говорил он, – наблюдайте внимательно за приемкой бураков, потому что солдаты и так уж жалуются, что у здешних десятников берковцы чересчур полные. Я, по правде говоря, побаиваюсь, как бы в конце концов не вышло между теми и другими какого-нибудь крупного недоразумения». Солдаты работали по трое. Они уже практическим путем выработали такую сноровку. Один копачом выковыривает бураки из почвы, двое ножами обрезают их и обчищают от земли. Тройки эти состояются обыкновенно из работников равной силы и ловкости, плохого нет расчета принимать – только другим будет помехой. Читал я, – не помню где, кажется, что в «Разведчике», соображения какого-то досужего мыслителя, будто от вольных работ нет никакой пользы: только одежда рвется да солдат распускается... И вовсе это неправда... Нигде нет такого доверчивого, почти родственного согласия между начальником и солдатом, как на вольных работах. И уж если согласиться с тем, что и нижнему чину нужны каникулы среди его тяжелой военной науки, то ведь лучшего отдыха для него, как любимый полевой труд, не сыскать. Только надо, чтобы все заработанные деньги шли солдату без всяких посредников... Где у человека чешется, он сам об этом знает. А работают наши прекрасно: нанятым крестьянам и вполтину за ними не угнаться. Только Замошников, по обыкновению, ничего не делает. Замошников – это любимец и баловень всей роты, начиная от капитана и кончая последним рядовым – Никифором Спасобом (этот Спасоб со своей хромой ногой и бельмом на правом глазу уже четвертый год представляет собою ходячее и вопиющее недоразумение военной службы). Правда, Замошников за всю свою службу никак не мог выучить по азбуке Гребенюка гласных букв, а в «словесности» проявляет редкую, исключительную тупость, но такого лихого запевалы, мастера на все руки, сказочника и балагура не сыщется во всем полку... Он, по-видимому, хорошо сознает свою роль и смотрит на нее, как на некоторого рода служебную обязанность. На походе он поет без передышки, и его хлесткие, забористые слова часто заставляют приставших солдат сочувственно гоготать и нравственно встряхиваться. Василий Акинфиевич хотя и держит Замошникова чаще, чем других, под ружьем, за что тот вовсе не в претензии, но признавался мне как-то, что такой затейщик в военное время да при трудных обстоятельствах чистая драгоценность. Однако Замошников вовсе не плоский шут и не лодырь, и за это-то я его особенно люблю. Просто жизнь в нем кипит неудержимым ключом и не дает ему ни минуты посидеть спокойно на месте.

Вот и нынче: пробираясь от партии к партии и дойдя, наконец, до бабьего участка, он затеял с хохлушками длинный разговор, благодаря которому ближние солдаты побросали работу и катаются от хохота по земле. Я еще издали слышу, как он подраивает то пискливой и стремительной бабьей ругани, то ленивому говору старого хохла... Увидев меня, он делает озабоченное лицо, шарит по земле и спрашивает: «Ну, а кто из вас, землячки, загубил моего копача?» Я кричу на него, стараясь принять строгий вид. Он вытягивается в струнку, держась, как и всегда пред начальством, с грациозной молодцеватостью, но в его добрых голубых глазах еще дрожит огонек недавнего смешливого задора...

17 сентября

Наше знакомство состоялось, но состоялось при самых исключительно-комических условиях. Что скрываться пред собой – я втайне очень желал этого знакомства, но если б я мог предчувствовать, что оно произойдет так, как оно сегодня произошло, я бы от него отказался.

Местом действия опять-таки был сад. Я уже писал, что там есть озеро с круглым островком посередине, заросшим густым кустарником. На ближнем к дому берегу построена небольшая каменная пристань, а около нее привязана на цепи длинная плоскодонная лодка.

В этой-то лодке и сидела Катерина Андреевна, когда я проходил мимо. Держась обеими руками за борта и перегибаясь телом то на одну, то на другую сторону, она старалась раскатать и сдвинуть с места тяжелую лодку, глубоко воссавшуюся в илистое дно. На ней был матросский костюм с широким вырезом на груди, позволявшим видеть белую тонкую шею и худенькие ключицы, резко выступавшие от мускульного напряжения, и тоненькую золотую цепочку, прятанную под платьем... Но я взглянул только мимоходом и, сделав полупоклон, с прежним скромным достоинством отвернулся. В это время женский голос, свежий и веселый, вдруг крикнул:

– Пожалуйста, будьте так добры!

Я сначала подумал, что это восклицание относится к кому-нибудь другому, идущему сзади меня, и даже невольно обернулся назад... Но она смотрела именно на меня, улыбалась и энергично кивала мне головой.

– Да, да, да... вы, вы. Будьте так добры, помогите мне чуть-чуть сдвинуть эту противную лодку. У меня одной не хватает сил.

Я отвешиваю самый галантный поклон, нагнув вперед туловище и слегка приподняв назад левую ногу, стремительно сбегая к воде и делаю вторичный, такой же светский поклон. Воображаю, хорош я был! Барышня стоит в лодке, продолжает смеяться и говорит:

– Столкните ее немножко... Потом уж я сама справлюсь.

Я берусь обеими руками за нос лодки, широко расставляю для устойчивости ноги и предупреждаю с изысканной вежливостью:

– Потрудитесь присесть, *mademoiselle*... Толчок может выйти очень сильным. Она садится и глядит на меня в упор смеющимися глазами и говорит:

– Право, мне так совестно, что я злоупотребляю вашей добротой...

– О, это такие пустяки, *mademoiselle*!.. Ее внимание придает моим движениям уверенную грацию. Я – хороший гимнаст и от природы обладаю достаточной физической силой. Но лодка не двигается, несмотря на все мои старания...

– Лучше не трудитесь, – слышу я нежный голосок. – Это, должно быть, слишком тяжело... и может повредить вам... Право, мне так...

Неоконченная фраза виснет в пространстве... Сомнение в моих силах удесятряет их... Мощное усилие – толчок – бух!.. Лодка летит, как стрела, и я, по всем законам равновесия, шлепаюсь ничком в тину.

Когда я встаю, то чувствую, что у меня и лицо, и руки, и белоснежный китель, только что надетый в это утро, – все покрыто сплошным слоем коричневой, вязкой и вонючей грязи. В то же время я вижу, что лодка быстро скользит по самой середине озера и что со дна ее поднимается упавшая во время толчка со скамейки девица... Первый предмет, кидающийся ей в глаза, я. Неистовый хохот оглашает весь сад и сто раз повторяется в чаще деревьев... Я вынимаю платок и сконфуженно вожу им сначала по кителю, потом по лицу... Но вовремя соображаю, что от этого только сильнее размазывается грязь и моя фигура приобретает еще более жалкий вид. Тогда я делаю геройскую попытку: самому расхохотаться над комичностью своего положения... и потому испускаю какое-то идиотское ржанье. Катерина Андреевна пуще прежнего заливается смехом и едва может выговорить:

– Уходите... уходите скорей... вы... схватите простуду...

Я кидаюсь сломя голову прочь от этого проклятого места, но всю дорогу, до самого дома, в моих ушах звенит беспощадный несмолкаемый хохот...

Капитан, увидев меня, только руками развел.

– Хоро-ош! Нечего сказать!.. Где это вас угораздило?

Я ему ничего не ответил, захлопнул дверь своей комнаты и с озлоблением поворотил два раза ключ...

Увы! Теперь все и навеки потеряно...

Р. S. Хороша она или дурна собой?.. Я так был погружен в свое геройство (казнись, казись, несчастный!), что даже не успел путем взглянуться в нее... А впрочем, не все ли равно?

Завтра во что бы то ни стало еду в полк, хотя бы для этого пришлось притвориться больным... Здесь я своего позора не переживу.

Кэт – Лиди. 18 сентября. Ольховатка. Милая и дорогая моя Лиди!

*Поздравь меня скорей. Лед тронулся... Таинственный незнакомец, оказывается. – самый любезный в мире *chevalier sans peur et sans reproche*¹. Честь этого открытия принадлежит мне, потому что ты, гадкая, уехала и некому меня удерживать от моих глупостей, которых я успела наделать без тебя целую тысячу.*

*Раньше всего признаюсь тебе, что я устроила вчера на таинственного незнакомца облаву. Я села в лодку и, когда он проходил мимо, попросила его оттолкнуть меня от берега. О, я отлично знаю, что ты удержала бы меня от такой выходки! Надо было видеть поспешность, с которой таинственный незнакомец бросился исполнять мою просьбу... Но – бедный – он не рассчитал своих сил, упал в воду и весь перепачкался в грязи... У него был самый плачевный и в то же время самый смешной вид, какой только можно себе вообразить: шапка свалилась на землю, волосы упали на лоб, и с них текла ручьями грязь, руки с растопыренными пальцами точно окаменели... Я тотчас же подумала: «Не надо смеяться... Он обидится». Уж лучше бы мне не думать этого!.. Я принялась хохотать, хохотать, хохотать... Я хохотала до истерики... Напрасно я кусала себе до крови губы и щипала себя больно за руку. Ничто не помогло... Переконфуженный офицер обратился в бегство... Это с его стороны было очень неостроумно, потому что я забыла на берегу весла. Пришлось до тех пор носиться по волнам разъяренной стихии, пока ветром не прибило мой утлый челн в камыши. Там, хватаясь попеременно обеими руками за стебли и подтягивая таким образом лодку, мне удалось кое-как добраться до берега... Однако, выскакивая из лодки, я все-таки умудрилась промочить ноги и платье чуть не до колен. Знаешь ли, он мне очень нравится, и какое-то странное предчувствие говорило мне, что между нами завяжется интересный флирт, *l'atour inacheve*, – как, говорит Прево... В нем есть что-то мужественное, крепкое и в то же время нежное. Над таким человеком приятно властвовать. Кроме того, он, должно быть, очень скромн, то есть не болтлив, кажется, неглуп, а главное – в его фигуре и движениях чувствуется прочное здоровье и большая физическая сила. Когда он так неудачно хлопотал около лодки, мною овладела дикая, но очень соблазнительная мысль: мне страшно хотелось, чтобы он взял меня на руки и быстро-быстро нес по саду... Это ведь не составило бы для него большого труда, милая моя Лидочка?..*

Какая разница между ним и примелькавшимися петербургскими танцорами и спортсменами, в которых всегда чувствуешь что-то поношенное, что-то привычно и неприятно-бесстыдное. Мой офицер свеж, как здоровое яблоко, сложен, как гладиатор, притом стыдлив и мне кажется, страстен.

¹ Рыцарь без страха и упрека (франц.)

*Завтра или послезавтра я буду делать ему авансы (кажется, по-русски так выражаются?). Прошу тебя, Лидочка, исправлять без стеснения мои галлицизмы, как ты мне сама обещала... Право, мне стыдно, что я делаю ошибки в своем родном языке. Что он так великолепно упал в озеро – ничего не значит. Никто, кроме меня, не был свидетелем этого трагического происшествия... Дело другого рода, если бы он был так неловок перед глазами большого общества. О, тогда я непременно стыдилась бы его... Эго, должно быть, такая паша, специально женская психология. Прощай, мой славный Лидочек. Целую тебя.
Твоя Кэт.*

19 сентября

Все в мире проходит – боль, горе, любовь, стыд, – и это, в сущности, чрезвычайно мудрый закон. Третьего дня я был уверен, что если бы перед моим отъездом я столкнулся где-нибудь нечаянно с Катериной Андреевной, то я непременно умер бы от стыда. А между тем я не только не уехал из Ольховатки, но даже успел заключить дружбу с этим очаровательным существом. Да, да, именно дружбу. Она сегодня сама под конец нашей длинной и очень душевной беседы сказала слово в слово следующую фразу: «Итак, monsieur Лапшин, будемте друзьями, и пусть никто из нас не вспоминает более об этой несчастной истории». Конечно, под несчастной историей подразумевалось мое приключение с лодкой.

Теперь я знаю ее наружность до самых тончайших подробностей, но описать ее я не могу. Да, по правде сказать, я это вообще считаю невозможным. Часто читаешь в каком-нибудь романе описание наружности героини: «у нее было прекрасное, классически-правильное лицо, с глазами, полными огня, прямым очаровательным носиком и с прелестными алыми губками, из-за которых блестили два ряда великолепных жемчужных зубов». Удивительная наивность!.. Разве это пошлое описание даст хотя малейшее понятие о той неуловимой совокупности и взаимной гармонии черт, которые делают каждую физиономию непохожей на миллион других.

Вот и я в настоящую минуту необыкновенно ярко вижу пред собою ее лицо: круглый овал, матовая бледность, брови, почти прямые, очень черные и густые; у переносья они сходятся в виде темного пушка, что придает им несколько суровое выражение; глаза большие, зеленые, с громадными близорукими зрачками; рот маленький, чуть-чуть неправильный, чувственный, насмешливый и гордый, с полными, резко очерченными губами; матовые волосы тяжелым и небрежным узлом собраны на затылке. Уехать вчера я не мог. Капитан болен не на шутку: с утра до вечера растирается муравьиным спиртом и пьет декокт из какой-то петушиной травы... Бросить его в таком положении было бы не по-товарищески. Тем более что капитанская «петуховка» – не что иное, как замаскированный запой.

Вчера вечером пошел в сад. Я даже не посмел признаться себе, что втайне надеялся застать там Катерину Андреевну. Не знаю, видела ли она, как я входил в калитку, или все объясняется случайностью, но мы встретились лицом к лицу на главной дорожке в то время, когда я только что вышел на нее из аллеи.

Солнце садилось. Половина неба рдела, обещая на утро ветер. Катерина Андреевна была в белом платье, перехваченном в талии зеленым бархатным кушаком. На огненном фоне заката ее голова прозрачно золотилась тонкими волосами.

Увидев меня, она улыбается, но не зло, а скорее ласково, и протягивает мне руку.

– Я отчасти виновата во вчерашнем... Скажите, вы не простудились?

Тон ее вопроса искренний и участливый... Все мои страхи рассеиваются... Я даже нахожу в себе столько смелости, что рискую сам над собой пошутить:

– Пустяки... Маленькая ванна из грязи... Это, скорее, полезно... Вы слишком добры, mademoiselle...

И мы оба принимаемся хохотать самым откровенным образом. Действительно, что же было такого ужасного или постыдного в моем невольном падении? Я решительно не понимаю!..

– Нет, этого так нельзя оставить, – говорит она, продолжая смеяться, Вы должны потребовать реванш... Вы умеете грести?

– Умею, mademoiselle...

– Ну, так пойдете... Да не называйте меня постоянно mademoiselle... Впрочем, вы не знаете моего имени?

– Знаю, Катерина Андреевна?..

– Ах, это страшно длинно: Ка-те-ри-на, да еще вдобавок Андреевна. Дома меня все называют Кэт... Зовите меня просто Кэт...

Я на ходу шаркаю по песку ногой, что должно означать молчаливое согласие.

Я подтягиваю лодку к берегу. Кэт, крепко опираясь на мою протянутую руку, уверенно бежит по дощечкам для гребцов на корму. Мы медленно скользим по озеру. Поверхность так скользка и неподвижна, что кажется густой. Встревоженные тихим движением лодки, за кормой с легким журчаньем лениво расплываются в обе стороны морщинки, розовые от последних лучей солнца. У берегов в воде отражаются вверх ногами, но еще красивее, чем в действительности, прибрежные косматые ветлы, на которых зелень еще не тронута желтизной. Пара лебедей, легких, как кусочки снега, плывут за нами издали, белея в темной воде.

– Вы постоянно проводите лето в деревне, mademoiselle Кэт? – спрашиваю я.

– Нет. В прошлом году мы ездили в Ниццу, а раньше были в Баден-Бадене... Я не люблю Ниццы – это город умирающих. Кладбище какое-то... Зато я играла в Монте-Карло. Просто как безумная!.. А вы были за границей?

– Как же! И даже с приключениями.

– В самом деле? Это, должно быть, интересно. Расскажите, пожалуйста. Это случилось два года тому назад, весной. Наш батальон стоял в отделе, в крошечном пограничном местечке – Гусятине. Оно обыкновенно называется русским Гусятиным, потому что по ту сторону узенькой речонки, всего в каких-нибудь пятидесяти шагах, находится австрийский Гусятин... И когда я говорю не без гордости: в бытность мою за границей, – я подразумеваю именно этот самый австрийский Гусятин.

Однажды, заручившись благосклонностью становой пристава, мы собрались туда довольно большим обществом, состоявшим исключительно из офицеров и полковых дам. Проводником был местный штатский доктор, он же служил нам и переводчиком... Едва мы вступили, выражаясь высоким штилем, на чуждую территорию, как нас окружила толпа оборванных, грязных ребятишек-русинов. Тут мы, кстати, имели случай убедиться в той глубокой симпатии, которую к нам, русским, питают наши западные братья-славяне. Мальчишки, следуя за нами от плотины и до самых дверей ресторации, ни на секунду не переставали осыпать нас отборнейшею русскою бранью... Австрийские евреи кучками стояли на улице, в хвостатых меховых шапках, с пейсами до плеч, в лапсердаках, из-под которых виднелись белые чулки и пантуфли. При нашем приближении они указывали на нас друг другу пальцами, и в их быстром гортанном говоре, с характерными завываниями на концах фраз, было что-то угрожающее.

Наконец мы добрались до ресторана и заказали себе гуляш и масляш. Первое – какое-то национальное мясное кушанье пополам с красным перцем, а второе – приторное венгерское вино. Пока мы ели, в крошечную залу набралась густая толпа гусятинских обывателей, созерцавших с откровенным любопытством чужеземных гостей. Потом трое человек из этой толпы подошли и поздоровались с доктором – он тотчас же представил их нашим дамам. За этими тремя подошло еще четверо, потом еще человек шесть. Что это были за субъекты, – я до сих пор не могу себе представить, но несомненно, что все они занимали административные должности. Между ними находился какой-то пан-комисарж, и пан-подкомисарж, и пан-довудца, и еще какие-то паны. Все они ели с нами гуляш, пили масляш и поминутно говорили дамам:

«служу пани» и «падам до ног панских»... В заключение пан-комисарж просил нас остаться до вечера и посетить назначенный на этот день складковый бал. Мы согласились.

Все обстояло самым прекрасным образом, и наши дамы с увлечением носились в вихре вальса с своими новыми знакомыми. Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам заказывать для себя танец, платя за него музыкантам двадцать копеек. С этим обычаем мы вскоре примирились, но пассаж не замедлил произойти, и совсем для нас неожиданно.

Кому-то из нас захотелось пива, и он сказал об этом одному из наших новых знакомых – представителю черносу господину с великолепными манерами, про которого наши дамы решили, что он непременно должен быть одним из окрестных магнатов. Магнат оказался чрезвычайно любезным человеком. Он крикнул: «зараз Панове!», исчез на минутку и тотчас же воротился с двумя бутылками пива, штопором и салфеткой под мышкой. Обе бутылки были им открыты с таким удивительным искусством, что наша полковница даже выразила вслух свое одобрение. На ее комплимент магнат возразил со скромным достоинством: «О, это для меня дело привычное, сударыня!.. Ведь я же служу в этом самом заведении кельнером!» Конечно, после этого неожиданного признания наша компания оставила австрийский бал с поспешностью, даже несколько неприличной. В то время, когда я рассказываю, Кэт звонко смеется, наша лодка огибают островок и въезжает в узенький канал, над которым свесившиеся с обоих берегов деревья образуют полутемный, прохладный свод. Здесь пахнет сильно болотной травой, вода кажется черной, как чернила, и кипит под веслом.

– У! Как хорошо! – восклицает Кэт и содрогается плечами. Так как разговор грозит иссякнуть, я спрашиваю:

– Вам, вероятно, очень скучно в деревне?

– Очень скучно, – отвечает, чуть-чуть помолчав, Кэт и небрежно прибавляет, бросая на меня быстрый кокетливый взгляд: – по крайней мере до сих пор. Еще пока летом гостила здесь моя подруга, – вы ее, кажется, видели? – тогда хоть было с кем поболтать...

– Разве у вас совсем нет знакомых среди окрестных помещиков?

– Нет. Папа никому не хотел делать визитов... Ужасно скучно... По утрам на мне лежит обязанность читать вслух бабушке «Московские ведомости»... Вы не поверите, какая это тоска!.. В саду так хорошо, а тут изволь читать про какие-то конфликты между просвещенными державами и про сельскохозяйственный кризис... Я иной раз с отчаяния возьму да пропущу строк двадцать или тридцать, так что во всей статье не останется ровно никакого смысла... Бабушка, однако, далека от подозрения и часто удивляется: «Ты замечаешь, Кэт, как нынче непонятно стали писать?» Я, конечно, соглашаюсь. «Действительно, бабушка, очень непонятно». Зато, когда чтение кончается, я чувствую себя как школьница, отпущенная на каникулы...

Разговаривая таким образом, мы катаемся по озеру до тех пор, пока не начинает темнеть... При прощании Кэт фразой, брошенной вскользь, дает мне понять, что ежедневно утром и вечером она имеет обыкновение гулять по саду. Это все случилось вчера, но я не успел ничего вчера записать в дневник, потому что все остальное время до полуночи лежал на кровати, глядел в потолок и предавался тем несбыточным, невероятным мечтам, которые, несмотря на их невинность, совестно передавать на бумаге.

Сегодня мы опять встретились, но уже без малейшего смущения, как старые знакомые. Кэт необыкновенно добра и мила. Когда я в разговоре выразил, между прочим, сожаление, что прискорбный случай с лодкой сделал меня в ее глазах смешным, она протянула мне откровенным движением руку и произнесла незабвенные слова:

– Будемте друзьями, *monsieur* Лапшин, и не станем вспоминать об этой истории. И я знаю, что ласковый тон этих слов никогда не изгладится из моей памяти никакими другими словами. Во веки веков.

20 сентября

О, я не ошибся. Кэт действительно вчера намекала на то, что нам можно ежедневно утром и вечером встречаться в саду. Жаль только, что она сегодня была не в духе по причине сильной головной боли. Вид у нее очень утомленный: глаза очерчены легкой тенью и щеки бледнее обыкновенного.

– Вы не обращайтесь особенного внимания на мое нездоровье, – сказала она в ответ на мое соболезнование. – Это пройдет... Я приобрела нехорошую привычку читать в постели. Не заметишь, как увлечешься, и читаешь часа три подряд, а потом начинается бессонница. Потом, полушутя, полусерьезно, она спросила:

– Вы не умеете гипнотизировать?

Я отвечал, что не пробовал, но, вероятно, сумею.

– Возьмите меня за руку, – сказала Кэт, – и глядите мне пристально в глаза. В то же время мысленно приказывайте, чтобы моя голова перестала болеть. Я так и сделал. Ее маленькая, холодная и узкая ручка легла слабо в мою руку. Глядя в большие черные зрачки Кэт, я старался сосредоточиться и собрать всю силу воли, но глаза мои смущенно перебежали с глаз на губы. Был один момент, когда мои пальцы нечаянно дрогнули и чуть-чуть сжали руку Кэт. Как будто бы в ответ на мое бессознательное движение, я тоже почувствовал слабое пожатие. Но, конечно, это произошло случайно, потому что тотчас же она выдернула свою руку со словами:

– Нет, вы мне не поможете. Вы совсем о другом думаете...

– Напротив, я думал о вас, mademoiselle Кэт, – возразил я.

– Может быть. Но только доктора никогда не глядят такими глазами. Вы нехороший...

Я – нехороший! Свидетель бог, что ни одна дурная мысль, даже ни один оттенок дурной мысли не шевельнулся у меня в голове. Или, может быть, мое несчастное лицо имеет способность выражать вовсе не то, что я чувствую?

Однако – странная вещь – замечание Кэт вдруг заставило меня впервые почувствовать в ней женщину, и мне стало неловко.

Так мой опыт гипнотизирования и не удался. Мигрень у Кэт не только не прошла, но с минуты на минуту становилась все сильнее. Когда она уходила, ей, вероятно, стало жаль видеть мое разочарованное лицо. Она позволила мне на секунду более, чем следовало, задержать ее руку и сказала: – Вечером я не буду гулять. Подождите до завтра.

Но как это было хорошо сказано! Какое значение может иногда женщина вложить в самую пустую, самую обыденную фразу. Это «подождите» я перевел таким образом: «Я знаю, что вам очень приятно со мной видиться, мне это тоже не противно, но ведь мы можем встречаться ежедневно, и времени у нас впереди много – не правда ли?» Кэт дает мне право ждать себя! У меня даже голова кружится от восторга при этой мысли.

Что, если простое любопытство, знакомство от скуки, случайные встречи перейдут во что-нибудь более серьезное и нежное? Блуждая после ухода Кэт по дорожкам сада, я невольно мечтал об этом. Ведь ни о чем не запрещено мечтать ни одному человеку? И я представлял себе, как между нами возникает пламенная, скромная и доверчивая любовь, ее первая любовь, моя, хотя не первая, но зато самая сильная и последняя. Я представлял себе ночное свидание, скамейку, облитую кротким сиянием луны, голову, доверчиво прижавшуюся к моему плечу, и сладкое, еле слышное «люблю», робко произнесенное в ответ на мое пылкое признание. «Да, я люблю тебя, Кэт, говорю я с подавленным вздохом, – но мы должны расстаться. Ты – богата, я бедный армейский офицер, у которого нет ничего, кроме безмерной любви к тебе. Неравный брак принесет тебе несчастье. Ты будешь потом упрекать меня». – «Я люблю тебя и не могу без тебя жить! – отвечает она. – Я пойду за тобой на край света». – «Нет, дорогая, нам нужно расстаться... Тебя ждет иная жизнь... Помни только одно, что я никогда, никогда в моей жизни не перестану любить тебя».

Ночь, скамейка, луна, поникшие деревья, сладкие слова любви... Как все это возвышенно, мило, старо и... глупо. Вот и теперь, пока я пишу эти строки, капитан, только что выпивший на ночь «петуховки», кричит мне из своей постели:

– Что это вы все строчите, поручик? Уж не стихи ли часом? Вот бы разодолжили таким «бэгэрэдством».

Капитан, кажется, больше всего на свете ненавидит стихи и природу... Кривя рот в сторону, он говорит иногда:

– Стишки-с? Кому это нужно-с? И он язвительно декламирует:

Передо мной портрет стоит Неодушевленный, но в рамке; Перед ним свеча горить, Букет торчить И роза в банке.

– Чепуха-с, ерунда-с и всякая такая вещь...

Но и он не чужд искусству и поэзии. В период усиленных приемов «петуховки» он играет иногда на гитаре и поет старые, диковинные, смешные романсы, каких теперь не поют уже лет тридцать.

Сейчас я лягу в кровать, но знаю, что заснуть мне будет трудно... Но разве мечты, хотя бы самые несбыточные, не составляют неотъемлемого и утешительного права каждого смертного?

21 сентября

Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я и капитан будем обедать у самого Андрея Александровича, я бы рассмеялся в лицо этому предсказателю. Я, между прочим, только что вернулся из палата, и даже в зубах у меня дымится еще та самая сигара, которую я закурил в великолепном кабинете. Капитан в своей комнате растирается муравьиным спиртом и ворчит что-то про «бэгэрэдство и всякую такую вещь». Однако он сбит с панталыку и, очевидно, сознает себя смешным в своих сегодняшних лаврах торреадора и бесстрашного спасителя особы прекрасного пола. Увы! Должно быть, сама судьба избрала нас обоих выступать здесь в комических ролях: меня – в приключении на берегу озера, его – в сегодняшнем подвиге. Впрочем, надо рассказать все по порядку. Было часов одиннадцать утра. Я сидел за письменным столом и писал своим домашним письмо в ожидании капитана, который должен был прийти к завтраку. Он действительно пришел, но в самом неожиданном виде: весь в пыли, красный, переконфуженный и злой. Я поглядел на него вопросительно. Он начал стаскивать с себя сюртук, продолжая браниться.

– Это вот... такая вышла вот... глупая штука и... всякая такая вещь!.. Представьте себе – иду сейчас с работ... Прохожу двором и вижу, что из палисадника, что перед палацом, выползает эта самая старушка, ну... мать или бабушка, что ли, или кто там? – не знаю. Прекрасно-с. Бредет она себе потихонечку, вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает теленок, знаете, обыкновенный теленок, еще и году ему нет... скачет, знаете, хвост кверху, и всякая такая вещь... ну, просто телячий восторг на него накатило... Увидел старушку и прямо к ней. Та – кричать! Палкой на него машет... А теленок еще пуще – так вокруг нее и танцует, думает, играют с ним. Покатилась моя старушка на землю... ни жива ни мертва и даже кричать больше не может... Вижу я, что нужно помогать, – бегу изо всей мочи... прогоняю этого дурацкого телка... смотрю, а старушка лежит, чуть дышит и даже кричать больше не может. Я думал, что уже дуба дала со страху. Ну, поднял ее кое-как, отряхнул от пыли, спрашиваю, не ушиблась ли? Та – только глазами ворочает и стонет. Наконец говорит: «Проведите меня в дом». Обнял я ее вокруг спины, поволок, на балкон втащил. На балконе сидит сама хозяйка здешняя, жена самого... Перепугалась ужас как. Охает. «Что такое с вами, „маман“, что случилось?..» Усадили мы с ней старушку в кресло, натерли какими-то духами. Ничего... отдышалась поне-многу. Ну и начала же она потом расписывать. Я уж не знал, куда мне деваться... «Иду я, говорит, по двору, и вдруг прямо на меня летит бык... огромный бешеный бык... глаза в крови, морда вся в пене... Налетел на меня, ударил в грудь рогами, свалил на землю... Дальше я,

говорит, ничего не помню...» Ну, одним словом, оказалось, что я какое-то чудо совершил: кинулся будто бы этому самому быку навстречу, схватил его за рога и, ей-богу, чуть ли не через себя перекинул... Я слушал-слушал и говорю наконец: «Вы ошибаетесь, сударыня, это не бык, это был просто телок...» Куды тебе! И слушать не хочет. «Вы, говорит, это из скромности».

В это время приходит барышня ихняя. Тоже разохалась. Старушка ей всю эту комедию рассказала. Черт знает что за идиотская история! Называют меня и героем и спасителем, жмут руки, и всякая такая вещь... Слушаю их: и смешно мне и стыдно, право... Ну, думаю, попал в историю, нечего сказать... Насилу-то, насилу от них отделался. Этакая ведь глупая штука вышла! Глупее, кажется, и нарочно не выдумашь...

Мы сели завтракать. За завтраком, после нескольких рюмок «петуховки», капитан немного успокоился. Он уже собирался опять идти на работы, как вдруг стремглав влетел в комнату наш казачок, с лицом, перекошенным от испуга, и с вытаращенными глазами.

– Пан... сами пан сюды идут!

Мы тоже, бог весть почему, испугались, вскочили, забегали, стали торопливо надевать скинутые сюртуки. В эту самую минуту в дверях показался Обольянинов и остановился с легким полупоклоном.

– Господа, я боюсь, что причинил вам беспокойство моим визитом, сказал он с самой непринужденной и в то же время холодной любезностью, пожалуйста, оставайтесь, как были, по-домашнему...

Он был в легкой просторной чесучовой паре, удивительно шедшей к его большому росту и молодившей его лицо. А лицо у него истинно-аристократическое: я никогда не видел такого изысканного профиля, такого гонкого, гордого орлиного носа, такого своевольного круглого подбородка и таких надменных губ.

Затем он обратился к капитану:

– Позвольте мне выразить мою глубокую признательность... Если бы не ваша смелость...

– Помилуйте, что вы-с? – возразил капитан, конфузясь и делая руками несообразные жесты. – Да я же ничего особенного не сделал, за что благодарить? Телок-с! Собственно говоря, просто неловко, и всякая такая вещь. Обольянинов опять сделал не то насмешливый, не то вежливый поклон.

– Эта скромность делает честь вашему мужеству, капитан. Тем не менее я считаю долгом принести благодарность и от матушки и от себя лично.

Тут капитан совсем застыдился, покраснел, – отчего лицо его сделалось коричневым, – и еще нелепее замахал руками.

– Да помилуйте... ничего тут особенного... просто телок... Да я... сделайте одолжение... всегда... вижу, телок бежит, ну, я сейчас... помилуйте...

Я увидел, что капитан решительно запутался, и поспешил к нему на помощь.

– Присядьте, прошу вас, – сказал я, придвигая ему стул.

Он вскользь окинул меня равнодушным взглядом, оросил небрежное терсі, но не сел, а только взялся рукой за спинку стула.

– Мне очень жаль, господа, что мы до сих пор не были знакомы, – сказал помещик, протягивая капитану руку. – Во всяком случае, сделаемте это: лучше поздно, чем никогда...

Растерявшийся капитан ничего не мог ответить и только чрезвычайно низко поклонился, пожимая белую выхоленную руку.

Что касается меня, я довольно бойко отрекомендовался: поручик Лапшин, а потом прибавил, хотя несколько неразборчиво:

– Очень приятно... поверьте... такая честь... В конце концов я не уверен, кто из нас сделал лучше: я или капитан.

– Я думаю, вы, господа, не откажетесь отобедать у меня, – сказал Обольянинов, беря со стула свою шляпу. – Мы обедаем ровно в семь...

Мы еще раз поклонились, и наш хозяин удалился с той же великолепной непринужденностью, как и вошел.

К семи часам мы явились в палац. Всю дорогу капитан ворчал что-то про «бэгэрэдство», постоянно поправлял нацепленный для чего-то на грудь иконостас и, по-видимому, находился в самом подавленном настроении духа... Впрочем, надо сказать, и я чувствовал себя не особенно развязно.

Когда мы пришли, то попали прямо в столовую – большую, несколько мрачную комнату, всю отделанную массивным резным дубом. Андрея Александровича не было, в столовой находились только его жена да старушка мать, спасенная от смерти капитаном. Произошло легкое замешательство, конечно, больше с нашей стороны. Мы должны были сами представляться... Нас попросили сесть... Разговор неминуемо зашел об утреннем происшествии, но, продержавшись минут пять, истощился без всякой надежды на возобновление, и мы четверо сидели молча и глядели друг на друга, тяготясь нашим молчанием.

К счастью, скоро в столовую вошла Кэт в сопровождении отца. Увидев меня, она удивленно закусила нижнюю губку, и брови ее высоко поднялись. Нас представили. По лицу Кэт я догадался, что о нашем случайном знакомстве в саду никому не должно быть известно – Милая девушка! Конечно, я исполнил твое безмолвное приказание.

После обеда, во время которого Оболянинов тщетно старался вызвать капитана на разговор, – на меня он почему-то мало обращал внимания, старуха выразила желание сыграть в ералаш. Так как Василий Акинфиевич никогда не берет карт в руки, то четвертым усадили меня. В продолжение двух часов я мужественно переносил самую томительную скуку. Старая дама два первых робера играла еще туда-сюда. Но потом ее старческое внимание утомилось. Она начала путать ходы и брать чужие взятки... Когда требовались пики, несла бубны.

– Мапан, ведь у вас есть еще пики, – замечал ей с несколько насмешливым почтением Андрей Александрович.

– Ну вот, ты меня еще учить вздумал! – обижалась старушка. – Стара я, голубчик, стала, чтобы меня учили... Если не даю пик, стало быть, у меня их и нет. Однако спустя минуту она сама начинала ходить с отыгранных пик.

– Видите, мапан, нашлись же у вас пики, – говорил ей сын с тем же оттенком добродушной насмешки, и она совершенно искренно изумлялась.

– Не понимаю, голубчик, откуда они у меня взялись! Просто – не понимаю... Впрочем, я сам играл рассеянно. Я все время прислушивался, не раздадутся ли сзади меня легкие шаги Кэт... Она, бедная, билась около получаса, стараясь занять капитана, но все ее старания разбивались о капитанское каменное молчание. Он только краснел, вытирал клетчатый платком вспотевший лоб и на каждый вопрос отвечал: «Да-с... сударыня... нет, сударыня». Наконец Кэт принесла ему целую грудку альбомов, гравюр, и он всецело погрузился в них.

Несколько раз Кэт нарочно проходила мимо карточного столика. Наши глаза каждый раз встречались, и каждый раз в ее глазах я видел лукавый и нежный огонек... Наше никем не подозреваемое знакомство делало нас чем-то вроде двух заговорщиков, двух людей, посвященных в одну тайну, и эта таинственность притягивала нас друг к другу крепкими задушевыми нитями.

Было уже темно, когда окончив ералаш и покулив в кабинете, мы возвращались домой. Капитан шел впереди. На террасе я вдруг почувствовал, да, именно почувствовал чье-то присутствие. Я раскурил сильнее сигару и в красноватом, вспыхивающем и потухающем свете увидел платье и дорогое улыбающееся лицо.

– Умница, паинька-мальчик, хорошо себя вел, – услышал я тихий шепот. В темноте моя рука схватила ее руку. Темнота вдруг придала мне необыкновенную смелость. Сжав эти нежные холодные пальчики – я поднес их к губам и стал быстро и жадно целовать. В то же время я твердил радостным шепотом:

– Кэт, моя милая... Кэт!

Она не рассердилась. Она только слабо отдергивала свою руку и говорила с притворным нетерпением:

– Не надо, не надо... Идите... Ах, какой вы непослушный!.. Ступайте, вам говорят. Но когда я, боясь на самом деле ее рассердить, разжал свои пальцы, она вдруг удержала их и спросила:

– Как ваше имя? Вы мне до сих пор не говорили.

– Алексей, – ответил я.

– Алексей? Как это хорошо!.. Алексей... Алексей... Алеша...

Потрясенный этой неожиданной лаской, я стремительно протянул вперед руки, но... они встретили пустоту Кэт уже не было на балконе.

О, как безумно я ее люблю!

Кэт – Лиди. 21 сентября.

Ты, конечно, помнишь, милая моя Лидочка, как папа восставал против наших офицеров? Как он называл их насмешливо «армеутами»? Поэтому ты, без сомнения, удивишься, если я тебе скажу, что они сегодня у нас обедали. Сам папа отправился к ним во флигель и пригласил их. Причина этой внезапной перемены – та, что сегодня утром старший из офицеров спас мою grandmère от неизбежной смерти. В том, что рассказывает бабушка, есть что-то невероятное. Она будто бы шла по двору, на нее внезапно налетел бешеный бык. храбрый офицер кинулся между ней и быком. – вообще целая картина во вкусе Шильгагена.

Положив руку на сердце, я тебе скажу, мне не особенно нравится то, что папа притащил их. Во-первых, они оба в обществе так теряются, что на них мучительно смотреть... В особенности старший: он ел рыбу прямо с ножа, все время странно конфузился и имел самый смешной вид. Во-вторых, мне жаль, что наши свидания в саду потеряли почти всю прелесть своей оригинальности. Раньше, когда никто не мог даже и подозревать о нашем случайном знакомстве, в этих свиданиях было что-то запретное, выходящее из ряда, теперь уже увы! – никому даже не придет в голову удивиться, увидав нас вместе.

Что Лапшин влюблен в меня по уши, в этом я уже совсем не сомневаюсь у него очень, даже чересчур красноречивые глаза! Но он так скромен и нерешителен, что мне волей-неволей приходится идти к нему навстречу. Вчера, когда он уходил от нас, я нарочно ждала его на балконе. Было темно, и он стал целовать мои руки. Ах, дорогая Лидочка, в этих поцелуях было что-то обворожительное! Я их чувствовала не только на руках, но на всем моем теле, по которому каждый поцелуй пробежал сладкой нервной дрожью. В эту минуту я очень жалела, зачем я не замужем. Мне так хотелось еще продлить и усилить эти новые, незнакомые для меня ощущения.

Ты, конечно, прочтешь мне нотацию за то, что я кокетничаю с Лапшиным. Но ведь это меня ни к чему не обязывает, а ему, без сомнения, доставляет удовольствие. Кроме того, не больше чем через неделю мы уедем отсюда. У него от меня останутся воспоминания – и больше ничего.

Прощай, милая Лидочка. Жаль, что ты не будешь зимой в Петербурге. Во всяком случае, не забывай писать мне. Поцелуй от меня твою маленькую сестренку.

Твоя навеки Кэт.

22 сентября

«Счастье, призрак ли счастья?.. Не все ли равно?»

Я не знаю, какому поэту принадлежит эта строчка, но она сегодня не выходит из моей головы.

Да и правда, не все ли равно? Если я был счастлив хоть час, хоть одно только короткое мгновенье, зачем отравлять его сомнениями, недоверием, вечными вопросами неудовлетворенного самолюбия?..

Перед вечером Кэт вышла в сад. Я дожидался, и мы пошли вдоль по густой аллее, по той самой аллее, где я впервые увидел мою несравненную Кэт, королеву моего сердца. Она была задумчива и часто отвечала невпопад на мои вопросы, которые я без толку предлагал, чтоб только избавиться от неловких, тяготивших и ее и меня молчаливых пауз. Но ее глаза не избегали моих: они смотрели на меня с такой нежностью. Когда мы поравнялись с той скамейкой, я сказал:

– Как мне памятно и дорого это место, mademoiselle Кэт! Она спросила:

– Почему?

– Здесь я впервые увидел вас. Помните, вы сидели с своей подругой и еще рассмеялись, когда я прошел мимо.

– О да, конечно, помню! – воскликнула Кэт, и ее лицо озарилось улыбкой. – С нашей стороны было совсем нетактично так громко смеяться. Вы, может быть, приняли этот смех по своему адресу?

– Признаться – да.

– Видите, какой вы подозрительный! Это нехорошо! А дело просто-напросто было так: когда вы прошли, я сказала Лиде на ухо одну вещь, – действительно про вас, но я не хочу вам ее повторять, чтоб не испортить вашего самолюбия лишним комплиментом. Лида остановила меня, потому что боялась, что вы услышите мои слова. Она очень «prude»² и всегда останавливает мои выходки. Тогда я нарочно, чтобы подразнить ее, сказала голосом моей бывшей гувернантки – очень чопорной старой мисс: «стыдно, shocking, стыдно». Вот и все. И эта буффонада заставила нас громко расхохотаться. Ну что? Вы теперь довольны?

– Совершенно. Но что вы сказали обо мне?

Кэт покачала головой с укоризненным, лукавым видом.

– Вы – чересчур любопытны, и я ничего вам не скажу, я и без того слишком добра с вами. Не забывайте, пожалуйста, что вы еще должны быть наказаны за вчерашнее дурное поведение.

Я понял, что она вовсе не думает на меня сердиться, но на всякий случай опустил с виноватым видом голову вниз и сказал с притворным смущением:

– Простите меня, mademoiselle Кэт! Я увлекся и не мог совладать со своим чувством.

И, видя, что она не перебивает меня, я прибавил еще более тихим, но в то же время страстным тоном:

– Вы так прекрасны, mademoiselle Кэт! Минута была благоприятная. Мне казалось, что Кэт дожидается продолжения моих слов, но внезапная робость овладела мной, и я только спросил, умоляюще заглядывая ей в глаза:

– Ведь вы не совсем рассердились на меня? Скажите... Меня это так мучит.

– Нет, не сержусь, – прошептала Кэт, отворачивая от меня свою голову стыдливым и бессознательно красивым движением.

«Ну, вот, момент готов, – подбодрил я себя внутренне. – Вперед! Вперед! В любви нельзя останавливаться на полдороге! Смелей!»

² Добродетельна (франц.).

Но смелость решительно покинула меня, и наше молчание после слов, почти близких к признанию, стало еще тягостнее. Должно быть, потому-то Кэт, дойдя вторично до конца аллеи, и простилась со мной.

Когда она мне протянула спую маленькую, нежную, но решительную ручку, я задержал ее в своей и посмотрел вопросительно в глаза Кэт. Мне показалось, что я читаю в них молчаливое согласие. Я стал опять так же жадно, как тогда на террасе, целовать эту милую ручку. Сначала Кэт сопротивлялась и называла меня непослушным, но потом я вдруг почувствовал на своих волосах глубокое теплое дыхание, и моей щеки быстро коснулись свежие, очаровательные губки. В ту же секунду – я не успел даже выпрямиться – Кэт выскользнула из моих рук, отбежала на несколько шагов и только там, на безопасной дистанции, остановилась.

– Кэт, подождите, ради бога, мне так много нужно вам сказать! воскликнул я, подходя к ней.

– Стойте на месте и молчите! – приказала Кэт, сдвигая брови и топая нетерпеливо ногой по шуршащим листьям.

Я остановился. Кэт сделала из ладони вокруг своего рта подобие рупора, наклонилась слегка вперед и тихо, но явственно прошептала:

– Завтра, когда только взойдет луна, ждите меня у пристани. Я уйду потихоньку. Мы будем кататься, и вы мне скажете все, что хотите... Понимаете? Понимаете вы меня?

После этих слов она повернулась и быстрым шагом, ни разу не оглянувшись назад, пошла по направлению к калитке... А я стоял и глядел ей вслед, растерянный, взволнованный и счастливый...

Кэт, дорогая моя Кэт! Если бы твое и мое положение в обществе были одинаковы... Положим, говорят, что любовь выше всяких сословных и иных предрассудков... Но нет, нет! Я останусь твердым и самоотверженным.

О боже мой! Как быстро разлетаются мои бедные, наивные, смешные мечты! Я пишу эти строки, а за стеной капитан, лежа в кровати, играет на гитаре и пост сиплым голосом старинную-старинную песню.

«Жалкий человечиска! – говорю я самому себе. – Для того, чтобы ты не набивал себе голову праздным и невыполнимым вздором, сядь и назови самому себе запиши слова:

Юный прапорщик армейский Стал ухаживать за мной, Мое сердце встрепенулось К нему любовью роковой.

Моя маменька узнала, Что от свадьбы я не прочь, И с улыбкою сказала: „Слушай, миленькая дочь!

Юный прапорщик армейский Тебя хочет обмануть. От руки его злодейской Трудно будет усколизнуть“.

Юный прапорщик армейский Проливал потоки слез. Как-то утром на рассвете В ближайший городок увез.

Там в часовне деревянной, Пред иконою творца, Поп какой-то полупьяный Сочетал наши сердца.

А потом в простой телеге Он домой меня отвез. Ах! Как это не по моде. Много пролила я слез.

Нет ни сахару, ни ча-аю, Нет ни пива, ни вина. Вот теперь я понимаю, Что я прапора жена... Вот теперь я понимаю, Что я прапора жена.

Да, да, стыдись, бедный армейский прапорщик. Рви себя за волосы! Плачь, плачь в тишине ночи! Спасибо, Василий Акинфиевич, за мудрый урок».

24 сентября

И ночь, и любовь, и луна, как поет мадам Рябкова, жена командира второй роты, на наших полковых вечерах... Я никогда, даже в самых дерзновенных грезах, не смел вообразить себе

такого упоительного счастья. Я даже сомневаюсь, не был ли весь сегодняшний вечер сном – милым, волшебным, но обманчивым сном? Я и сам не знаю, откуда взялся в моей душе этот едва заметный, но горький осадок разочарования?..

Я пришел к пристани поздно. Кэт дожидалась меня, сидя на высокой каменной балюстраде, окаймляющей площадку пристани.

– Так что ж, едем? – спросил я. Кэт еще плотнее укуталась в свою накидку и нервно содрогнулась под ней плечами.

– О нет, слишком холодно... Смотрите, какой туман на воде...

Действительно, темная поверхность озера видна была только на пять шагов. Дальше вставали и двигались неровные, причудливые клочья седого тумана.

– Походимте лучше по саду, – сказала Кэт. Мы пошли. В этот странный час светлой и туманной осенней ночи запущенный парк казался печальным и таинственным, как заброшенное кладбище. Луна светила бледная. Тени оголенных деревьев лежали на дорожках черными, изменчивыми силуэтами. Шелест листьев под нашими ногами путал нас.

Когда мы вышли из-под темного и как будто бы сырого свода акаций, я обнял Кэт за талию и тихо, но настойчиво привлек ее к себе. Но она и не сопротивлялась. Ее тонкий, гибкий, теплый стан слегка лишь вздрогнул от прикосновения моей руки, горевшей точно в лихорадке. Еще минута – и ее голова прислонилась к моему плечу, и я услышал нежный аромат ее пушистых, разбившихся волос.

– Кэт... как я счастлив... Как я люблю вас. Кэт... Я обожаю вас... Мы остановились. Руки Кэт обвились вокруг моей шеи. Мои губы увлажнил и обжег поцелуй, такой долгий, такой страстный, что кровь бросилась мне в голову, и я зашатался... Луна нежно светила прямо в лицо Кэт, в это бледное, почти белое лицо. Ее глаза увеличились, стали громадными и в то же время такими темными и такими глубокими под длинными ресницами, как таинственные пропасти. А ее влажные губы звали все к новым, неутоляющим, мучительным поцелуям.

– Кэт... милая... ты моя?.. совсем моя?..

– Да... совсем... совсем...

– Навсегда?

– Да, да, мой милый...

– Мы с тобой никогда не расстанемся, Кэт?. По ее лицу промелькнуло неудовольствие.

– Зачем ты об этом спрашиваешь? Разве тебе не хорошо со мной?..

– О Кэт!

– Так зачем же спрашивать о том, что будет? Живи настоящим, мой дорогой.

Время остановилось... Я не мог дать себе отчета, сколько прошло минут или часов с начала нашего свиданья. Кэт опомнилась первая и сказала, выскользнув из моих объятий:

– Поздно... меня могут хватиться... Проводи меня домой, Алеша...

Когда мы опять шли по темной аллее из акаций, она прижималась ко мне с зябкой и ласковой кошачьей грацией.

– Мне одной было бы здесь страшно. Алеша... Какой ты сильный... Обними меня... Еще... крепче, крепче... Возьми меня на руки. Алеша... понеси меня... Она была легка, как перышко. Держа ее на руках, я почти бегом пробежал аллею, а Кэт все сильнее, все нервней обвивала мою шею, целовала мою щеку и висок и шептала, обдавая мое лицо порывистым горячим дыханием:

– Скорей, еще скорей!.. Ах, как хорошо – как мне хорошо. Алеша! Скорее!..

У калитки мы простились.

– Что вы сейчас будете делать? – спросила Кэт, когда я, поклонившись, целовал попеременно ее руки.

– Я сейчас буду писать свой дневник, – ответил я.

– Дневник?.. – Лицо Кэт выразило удивление и – как мне показалось неприятное удивление. – Вы пишете дневник?

– Да, почти ежедневно.

– Вот как!.. И я тоже фигурирую в вашем дневнике?

– Да. Может быть, это вам неприятно?

Она рассмеялась принужденным смехом.

– Это смотря по тому... Конечно, вы когда-нибудь покажете мне ваш дневник?

Я пробовал отнекиваться, но Кэт так настаивала, что в конце концов пришлось согласиться.

– Смотрите ж, – сказала она, прощаясь со мной и грозя мне пальцем, если я увижу хоть одну помарку – берегитесь!

Когда я пришел домой и стукнул дверь, капитан проснулся и заворчал на меня:

– Где это вы все шляетесь, поручик? На рандевую небось ходили? Бэгэрэдство и всякая такая вещь...

Сейчас только я перечитал все глупости, которые я писал в этой тетрадке с самого начала сентября. Нет, нет. Кэт не увидит моего дневника, а то мне придется краснеть за себя каждый раз, как только я о нем вспомню. Завтра предаю этот дневник уничтожению.

25 сентября

Опять ночь, опять луна и опять странная, неизъяснимая для меня смесь очарования любви и мучений ущемленного самолюбия. Не игрушка ли... Чьи-то шаги под окном...

«Кэт – Лидиш. 28 сентября.

Ангел мой, Лидочек!

Мой короткий роман близится к мирному окончанию. Завтра мы уезжаем из Ольховатки. Я нарочно не предупредила Лапишина, а то бы он, чего доброго, вздумал бы явиться на вокзал.

Он очень чувствительный молодой человек и вдобавок совершенно не умеет владеть своей мимикой. Я думаю, он был бы способен расплакаться на вокзале. Роман наш вышел очень простым и в то же время очень оригинальным романом. Оригинален он потому, что в нем мужчина и женщина поменялись своими постоянными ролями. Я нападала, он защищался. Он требовал от меня клятв в верности чуть ли даже не за гробом. Эго – человек не нашего круга, не наших манер и привычек и даже говорит не одним с нами языком. В то же время у него слишком большие требования. Щадя его самолюбие, я ему ни разу даже не намекнула о том, как мог бы его принять папа, если бы он явился пред ним в качестве претендента на мою руку.

Глупый! Он сам не хотел продлить эти томительные наслаждения неудовлетворенной любви. В них есть нечто очаровательное. Задышаться в тесном объятии и медленно сгорать от желания – что может быть лучше этого? Наконец – почему знать? Может быть, есть еще более дерзкие и еще более томительные ласки, о которых я даже и представления не имею. Ах, если бы в нем было хоть немножко той смелости, изобретательности и... и испорченности, которую я раньше с отвращением чувствовала во многих моих петербургских знакомых!

А он, вместо того чтоб становиться с каждым днем смелее и смелее, ныл, вздыхал, говорил с горечью о неравенстве наших положений (как будто бы я согласилась когда-нибудь стать его женой!), намекал чуть ли не на самоубийство. Повторяю тебе, это стало невыносимо. Только одно, одно

наше свидание осталось у меня в памяти. – это когда он носил меня на руках по саду и по крайней мере молчал. Ах, да, милая Лидочка, между прочим, он проболтался мне, что пишет дневник. Это меня испугало. Бог знает, куда мог бы потом попасть этот дневник. Я потребовала, чтобы он дал мне его. Он обещал, но обещания своего не исполнил. Тогда (несколько дней тому назад), после долгой ночной прогулки и уже попрощавшись с Лапиным, я подкралась к его окну. Я застигла его на месте преступления. Он писал, и, когда я его окликнула, он страшно перепугался. Первым движением его было – закрыть бювар, но ты понимаешь, я велела ему отдать мне все написанное.

Ну, моя дорогая! Это так смешно и так трогательно, и так много жалких слов!.. Я сохраню этот дневник для тебя. Не упрекай меня. Я не боюсь, за него – он не застрелится, и я не боюсь также и за себя – он будет торжественно молчалив во всю свою жизнь. Но, признаюсь, мне отчего-то неопределенно-тоскливо... Впрочем, все это пройдет в Петербурге, как впечатление дурного сна.

*Обнимаю тебя, моя возлюбленная сестра. Пиши мне в Петербург.
Твоя К.»*

1897